

Р. СКОТТ БЭККЕР



ТЬМА
ПРЕЖНИХ
ВРЕМЕН

КНЯЗЬ ПУСТОТЫ
Книга первая

fanzon

Москва

2017

ТЪМА ПРЕЖНИХ ВРЕМЕН



ПРОЛОГ

Пустоши Куниюрии

«Если понимание приходит лишь после событий, значит, мы ничего не понимаем. Таким образом, можно дать следующее определение души: то, что предшествует всему».

*Айенсис. «Третья аналитика
рода человеческого»*

Горы Дэмуа, 2147 год Бивня

От того, что забыто, стеной не отгородиться. Цитадель Ишуаль пала в разгар Армагеддона. Но не армия безжалостных шранков взяла приступом ее укрепления. Не огнедышащий дракон разбил в щепки ее могучие ворота. Ишуаль была тайным убежищем верховных королей Куниюрии, а никто, даже Не-бог, не может взять в осаду место, о котором ему не ведомо.

За несколько месяцев до того Анасуримбор Ганрел II, верховный король Куниюрии, бежал в Ишуаль вместе с уцелевшими приближенными. Его часовые задумчиво вглядывались со стен в темные леса, раскинувшиеся у подножия гор. Их терзали воспоминания о пылающих городах и обезумевших толпах. Когда над стенами цитадели завывал ветер, они судорожно хватались за равнодушные каменные зубцы: этот звук напоминал им боевые рога шранков. А затем люди принимались шепотом успокаивать друг друга: разве не удалось им уйти от погони? Разве стены Ишуаль не прочнее скал? Где еще, если не здесь, может человек пережить конец света?



Первым мор унес самого верховного короля, как, быть может, то и подобало: здесь, в Ишуаль, Ганрел только рыдал да ярился, как может яриться лишь владыка, лишенный власти. Той же ночью его придворные спустились в леса вслед за носилками с телом короля. Свет погребального костра отражался в зрачках волков, что осмелились выйти из леса. Придворные не пели траурных песнопений — лишь мысленно прочли несколько торопливых молитв.

Не успел утренний ветер развеять пепел короля и унести его в небеса, как болезнь поразила еще двух человек: наложницу Ганрела и ее дочь. А потом начала перекидываться от одного к другому, словно стремилась известить королевский род до последнего человека. Часовых на стенах становилось все меньше, и, хотя оставшиеся по-прежнему всматривались в горизонт, видно им было мало. Крики и стоны умирающих затмевали им взор и наполняли страхом их разум.

А вскоре и часовых не осталось. Пятеро рыцарей Трайсе, что спасли Ганрела после разгрома на поле Эленеот, неподвижно вытянулись на своих ложах. Великий визирь, чьи золотые одежды были в пятнах от кровавого поноса, лежал, растянувшись на полу, бок о бок со своими колдовскими свитками. Дядя Ганрела, тот самый, что возглавил отчаянный штурм врат Голготтерата в дни начала Армагеддона, повесился у себя в покоях, и его тело тихонько покачивалось на сквозняке. Королева смотрела в никуда, поверх покрывал, запачканных гноем.

Из всех, кто бежал в Ишуаль, выжили только незаконный сын Ганрела да бард-жрец.

Мальчишка боялся странного поведения барда и его бельма. Он прятался и выбирался из своего убежища лишь тогда, когда голод становился невыносим. Старый бард непрерывно разыскивал его, распевая старинные любовные и боевые песни, при этом переверивая слова на самый богохульный лад.

— Отчего ты не выходишь, отрок? — восклицал он, слоняясь по галереям. — Покажись! Я буду петь тебе! Я поведаю тебе все тайные песнопения! Я хочу разделить с тобой былую славу!

Однажды вечером бард поймал-таки мальчишку. Он погладил его, сперва по щеке, потом по бедру.

— Прости меня, прости, — бормотал он снова и снова, но слезы катились лишь из его слепого глаза. Под конец он буркнул: — Какие могут быть преступления, когда в живых никого не осталось?



Но мальчишка остался жив. И как-то вечером, пять дней спустя, он заманил барда-жреца на отвесные стены Ишуаль. И когда пьяный бард, пошатываясь, подошел к краю, мальчишка спихнул его вниз. Он потом долго сидел на стене, всматриваясь сквозь мрак в исковерканный труп барда. А под конец решил, что этот труп ничем не отличается от остальных, разве что еще истекает кровью. Какое может быть убийство, когда в живых никого не осталось?

Пришла морозная зима, и крепость стала казаться еще более пустынной. Поднявшись на стену, мальчик слушал, как в темных лесах поют и грызутся волки. Он выпрастывал руки из рукавов, обнимал себя за плечи, защищаясь от холода, и бормотал себе под нос песни покойной матери, наслаждаясь ледяными укусами ветра. А то еще, бывало, бегал по дворам, откликаясь на волчий вой боевыми кличами куниюрцев и размахивая оружием, таким тяжелым, что шатался от его веса. А время от времени протыкал трупы отцовским мечом, и глаза его светились надеждой и суеверным страхом.

Когда сошли снега, он услышал крики и вышел к главным воротам Ишуаль. Он выглянул в темную щель амбразуры и увидел толпу исхудалых, похожих на покойников мужчин и женщин, которым удалось пережить Армагеддон. Заметив в воротах его силуэт, те разразились криками: они требовали и молили еды, убежища — чего угодно. Мальчик так перепугался, что ничего не ответил. Изможденные, они походили на зверей — на стаю волков.

Когда пришельцы полезли на стены, мальчик убежал и спрятался в подземельях крепости. Они, как и бард, принялись разыскивать и громко звать его, обещая ему безопасность. В конце концов один из них отыскал его: мальчик притаился за бочонком с рыбой. Пришелец сказал, не ласково и не грубо:

— Мы дуниане, отрок. Почему ты боишься нас?

Но мальчишка стиснул отцовский меч и заплакал.

— Пока люди живы, творятся преступления! — воскликнул он.

Глаза пришельца наполнились изумлением.

— Нет, отрок, — возразил он. — Это лишь до тех пор, пока люди заблуждаются.

Несколько мгновений юный Анасуримбор молча смотрел на него. Потом торжественно отложил в сторону отцовский меч и взял пришельца за руку.



— Я был принцем, — негромко произнес он.

Пришелец вынес его к остальным людям, и они все вместе отпраздновали нежданную удачу. Они взывали — не к богам, которых они отвергли, но друг к другу, — говоря, что такое совпадение воистину изумительно. Здесь они смогут поддерживать священнейшую ясность мысли. В Ишуаль нашли они убежище от ужасов конца света.

Все еще изможденные, однако облаченные в королевские меха, дуниане соскребли со стен колдовские руны и спалили свитки великого визиря. Драгоценности, халцедоны, шелка и золотая парча были погребены вместе с трупами членов королевской династии.

И мир забыл о них на две тысячи лет.

* * *

Три племени: нелюди, люди и шранки:
Первым судьба — забывать,
Вторым — вечно страдать,
Третьим — на все и на всех наплевать.

Старинная куниюрская детская песенка

«Это история великой и трагической Священной войны, история борьбы могущественных фракций, стремившихся управлять ходом этой борьбы и извратить суть ее, и это история сына, искавшего отца. Как и во всех историях, именно нам, выжившим, суждено написать ее завершение».

Друз Ахкеймион, «Компендиум Первой Священной войны»

Конец осени, 4109 год Бивня, горы Дэмуа

Опять вернулись сны.

Бесконечные пейзажи, истории, состязания в вере и образованности — все это обрушивалось водопадом мелких подробностей. Кони, спотыкающиеся на скользкой почве. Скрученные пальцы, стискивающие комья глины. Мертвые тела, распластанные на берегу теплого моря. И, как всегда, древний



город, выбеленный солнцем, на фоне бурых холмов. Священный город... Шайме.

А потом — голос, тонкий, словно звучащий из узкого, как тростинка, горла змеи:

— Пришлите ко мне моего сына!

Спящие пробудились одновременно, все как один задыхаясь, тщаьсь отделить разумное от невозможного. Повинуясь обычаю, установившемуся после первых снов, они собрались в лишенных света глубинах Тысячи Тысяч Залов.

И решили, что терпеть подобное поругание более нельзя.

Анасуримбор Келлхус поднимался в гору по неровной тропинке. Он опустил на одно колено и оглянулся на монастырскую цитадель. Укрепления Ишуаль возносились над елями и лиственницами, но могучие стены казались игрушечными на фоне горных вершин, изборожденных ущельями.

«Видел ли ты это, отец? Остановился ли ты, оглянулся ли в последний раз?»

Далекie фигуры цепочкой прошествовали между рядами зубцов и исчезли за каменной стеной. Старшие дунриане прекращали свое бдение. Келлхус знал, что они спустятся по массивным каменным ступеням и один за другим войдут во тьму Тысячи Тысяч Залов: огромный лабиринт в подземных глубинах под Ишуаль. Там они умрут, как и было решено. Все, кого запятнал его отец.

«Я один. Осталась лишь моя миссия».

Келлхус повернулся к Ишуаль спиной и принялся подниматься дальше сквозь лес. Горный ветер был напоен горьким ароматом смолы и хвои.

Когда стало смеркаться, Келлхус достиг тех мест, где деревья уже не росли. Два дня карабкался он по заснеженным склонам и наконец достиг перевала горного хребта Дэмуа. За перевалом, под мятущимися облаками, простирались леса тех земель, что некогда звались Куниюрией. Келлхус задумался о том, сколько таких равнин предстоит ему пройти, прежде чем он разыщет своего отца. Сколько рассеченных ущельями линий горизонта сменится перед ним, прежде чем он достигнет Шайме?

«Шайме будет моим жилищем. Я стану жить в доме моего отца».

Он спустился по гранитным уступам и вступил в чащобу.



Он брел через сумрачные лесные чертоги, через колоннады могучих красных стволов, где стояла тишина, веками не нарушаемая человеком. Он высвобождал свой плащ, запутавшийся в кустарнике, и преодолевал бурные горные потоки.

Леса у подножия Ишуаль мало чем отличались от этих, но Келлхусу отчего-то было не по себе. Он остановился, пытаясь вернуть душевное равновесие — он использовал для этого древнюю методику, предназначенную для тренировки дисциплины разума. В лесу было тихо, беззаботно перекликались птицы. Но Келлхус слышал раскаты грома...

«Со мной что-то происходит. Это первое испытание, отец?»

Он нашел ручей, дно которого пестрело солнечными зайчиками, и опустился на колени у самой воды. Зачерпнул, поднес горсть к губам. Вода оказалась на удивление сладкой и утоляла жажду куда лучше любой воды, что ему доводилось пробовать раньше. Но как может вода быть сладкой? И как может обыкновенный солнечный свет, преломленный струями бегущей воды, быть таким прекрасным?

То, что было прежде, определяет то, что будет потом. Монахи-дуниане посвящали всю свою жизнь исследованию этого принципа. Стремясь свести к минимуму любые сумасбродные случайности, они проясняли и распутывали неуловимую сеть причинно-следственных связей, которые определяют все сущее. Из-за этого в Ишуаль все события разворачивались с неуловимой, твердокаменной последовательностью. Как правило, все, вплоть до прихотливой траектории полета листа, упавшего с ветки в сад, было известно заранее. Как правило, любой мог предугадать, что скажет его собеседник, прежде чем тот успевал открыть рот. Знать то, что было прежде, означало предвидеть, что произойдет дальше. А предвидение того, что произойдет дальше, обладало особой безмятежной красотой и означало священную общность интеллекта и обстоятельств — дар Логоса.

Эта миссия стала первым настоящим сюрпризом для Келлхуса со времен детства, когда он только учился постигать мир. До сих пор жизнь его была размеренным ритуалом учения, самовоспитания и постижения. Все было доступно. Все было понятно. Но теперь, бредя по лесам исчезнувшей Куниюрии, Келлхус чувствовал себя камнем в бурном потоке. Он стоял неподвижно, а мир вокруг несся, как текучая вода. И со всех сторон на Келлхуса, подобно беспокойным волнам, накатывались все новые непредсказуемые события: то нежная трель незнако-



мой пичужки, то колючки неизвестного растения, застрявшие в плаще, то змея, скользящая через солнечную лужайку в поисках неведомой добычи.

Вот над головой раздавалось сухое хлопанье крыльев — и Келлхус на миг замирал на ходу. Вот ему на щеку садился комар — Келлхус прихлопывал его и тут же замечал у тропы дерево с поразительно искривленным стволом. Окружающий мир захлестывал его, навязывался ему, и вот Келлхус уже чутко отзывался на все вокруг: и на скрип ветвей, и на бесконечную изменчивость воды, струящейся по камням. Все это трепало его, точно волны прибоя.

Под вечер семнадцатого дня в сандалию попал сучок. Келлхус его вытащил, поднял и принялся изучать на фоне грозовых туч, катившихся по небу. Он с головой ушел в его форму, в тот путь, который сучок прокладывал по небу, — в стройные и мощные разветвления, отнимавшие у неба столько пустоты. Просто не верилось, что он вырос таким случайно! Казалось, будто он отлит в этой форме. Келлхус поднял глаза — и увидел, как туча смята и скомкана безграничным разветвлением древесных ветвей. Разве существует не единственный способ постичь тучу? Келлхус не помнил, сколько он простоял там, но к тому времени, как он наконец выпустил сучок из пальцев, уже стемнело.

Утром двадцать девятого дня Келлхус присел на камнях, зеленых от мха, и стал смотреть, как прыгает и ныряет лосось в речных перекатах. Трижды село и вновь взошло солнце, прежде чем ему удалось отвлечься от этой необъяснимой войны рыбы и вод.

В худшие моменты руки его становились смутными, как тень на фоне тени, и ритм шагов намного опережал его самого. Его миссия становилась последним осколком того, чем он некогда был. В остальном он был лишен интеллекта и не помнил принципов дуниан. Он был подобен листу пергамента, отданному на произвол стихий: каждый день стирал с него все новые слова, пока наконец не осталась лишь одна настойчивая мысль: «Шайме... Мне нужно дойти до Шайме и найти моего отца».

Он все брел и брел на юг, через предгорья Дэмуа. Его забытые усиливалось. Кончилось тем, что он перестал и спать, и есть, и смазывать меч после того, как попадал под дождь. Остались лишь глушь, путь и дни, сменяющие друг друга. Ночами



он, точно зверь, сворачивался клубком, не обращая внимания на тьму и холод.

«Шайме. Отец, прошу тебя!»

На сорок третий день он перешел вброд мелкую речушку и взобрался на берега, черные от гари. Сквозь гари буйно пробивались сорные травы, но больше там ничего не было. Мертвые деревья пронзали небо, точно почерневшие копья. Келлхус пробирался через пожарище, и сорные травы больно жалили его сквозь прорехи в одежде. Наконец он поднялся на гребень хребта.

Внизу простиралась долина — такая огромная, что у Келлхусахватило дух. За границами пожарища, все еще заваленного черными упавшими деревьями, над макушками леса вздымались древние укрепления, образуя огромное кольцо на фоне желтеющих вершин. Келлхус смотрел, как над ближайшими к нему стенами взмыла стая птиц — взмыла, покружила над рябыми камнями и вновь скрылась под кронами леса. Развалины. Такие холодные, такие заброшенные — лес никогда таким не будет.

Развалины были слишком стары, чтобы противостоять обступавшему их лесу. Дряхлые, обветшавшие, они тонули в лесу под тяжестью собственного возраста. Укрытые в мшистых впадинах стены вспарывали земляные холмики лишь затем, чтобы внезапно оборваться, словно продвижение удерживали лозы, оплетающие их, как могучие жилы оплетают кость.

Но было в них нечто не из нынешних времен, нечто, вдохнувшее в Келлхуса неведомые прежде страсти. Проведя рукой по камню, он почувствовал, что прикоснулся к дыханию и трудам людей — к знаку уничтоженного народа.

Земля под ногами поплыла. Келлхус подался вперед и прижался щекой к камню. Шершавый камень, дышащий холодом голой земли. Солнце, припекавшее наверху, не могло пробиться сквозь свод сплетенных ветвей. Люди... тут, в камне. Древние, нетронутые суровостью дунриан. Им каким-то образом удалось преодолеть сон и возвести тут, в глуши, памятник своим делам.

«Кто построил эту крепость?»

Келлхус бродил по холмикам, чувствуя погребенные под ними руины. Он слегка подкрепил свои силы тем, что нашлось в полузабытой им торбе с едой: сухарями и желудями. Он смах-



нул опавшие листья с поверхности небольшого водоема, наполненного дождевой водой, и напился. Потом с любопытством уставился на темное отражение своего лица, на светлые волосы, отросшие на голове и подбородке.

«Это — я?»

Он наблюдал за белками и теми птицами, которых мог разглядеть на фоне темных ветвей. Один раз заметил лису, пробирающуюся сквозь кустарник.

«Я — не просто еще один зверь».

Его интеллект воспрял, нашел точку опоры и вцепился в нее. Келлхус ощущал, как причины крутятся вокруг него в потоках вероятностей. Прикасаются к нему — и не могут его затронуть.

«Я — человек. Я не такой, как все вокруг».

Когда стало темнеть, начал накрапывать дождь. Келлхус посмотрел сквозь ветви на серые, холодные облака, ползущие по небу. И впервые за много недель принялся искать убежище.

Он пробрался в небольшой овражек, где воды размыли землю и кусок берега отвалился, обнажив каменный фасад какого-то здания. Келлхус поднялся по усеянной листвою глине к отверстию, темному и глубокому. Внутри жила дикая собака. Она бросилась на него, он сломал ей шею.

Келлхус привык к темноте. Вносить свет в глубины Лабиринта было запрещено. Но здесь отсутствовал строгий математический расчет, в тесном мраке Анасуримбор Келлхус нашел только нагромождение стен, заваленных землей. Он растянулся на земле и уснул.

Когда он пробудился, в лесу было очень тихо, потому что выпал снег.

Дуниане точно не знали, далеко ли находится Шайме. Они просто выдали Келлхусу столько припасов, сколько он мог без труда унести на себе. С каждым днем его торба тощала. Келлхус мог лишь отстраненно наблюдать, как голод и лишения терзают его тело.

Глушь не смогла им овладеть — теперь она стремилась убить его.

Припасы кончились, а он все шел. Все — опыт, аналитические способности — таинственным образом обострилось. Снова падал снег, дули холодные, пронзительные ветра. Келлхус шел, пока силы не оставили его.

«Путь слишком узок, отец. Шайме слишком далеко».



Ездовые собаки охотника залаяли и принялись рыться в снегу. Охотник оттащил их и привязал к кривой сосне. И ошеломленно бросился разгрести снег, из которого торчала скрюченная рука. Сперва он хотел скормить мертвеца собакам. Все равно волки съедят, а с мясом тут, в северной глуши, было туго.

Он снял варежки и коснулся заросшей бородой щеки. Кожа посерела, и охотник был уверен, что щека окажется такой же ледяной, как заметавший ее снег. Но нет, она была теплая! Охотник вскрикнул, и псы отозвались дружным воем. Он выругался и поспешно сделал знак Хузельта, Темного Охотника. Он выволок человека из-под снега — конечности у того гнулись свободно. А вот борода и волосы заledenели на ветру.

Мир всегда казался охотнику странным, и все вокруг имело тайный смысл. Но теперь этот смысл сделался угрожающим. Псы дернули сани, и охотник побежал следом, спасаясь от гнева налетевшей метели.

— Левет, — сказал человек, прижав руку к своей обнаженной груди. Его подстриженные волосы были серебристыми, с легким бронзовым отливом, и слишком жидкими, чтобы достойно обрамлять грубые черты лица. Брови, казалось, все время удивленно вскинуты, а беспокойные глаза так и шмыгали из стороны в сторону, глядя на что угодно, лишь бы не встречаться с пристальным взглядом подопечного.

Только позднее, когда Келлхус овладел начатками языка, на котором говорил Левет, узнал он, каким образом оказался у охотника. А первое, что запомнил, были пахнущие потом меха и жарко натопленный очаг. С низкого потолка свисали охапки шкур. По углам единственной комнаты теснились мешки и корзины. Над крохотным пятчком свободного места разливался смрад от дыма, сала и гнили. Позднее Келлхус узнал, что царящий в хижине хаос был на самом деле воплощением, и притом точным воплощением многочисленных суеверных страхов охотника. Каждая вещь должна быть на своем месте, говаривал тот, а если вещь не на месте — жди беды.

Очаг был достаточно велик, чтобы заливать все в хижине, включая самого Келлхуса, золотистым теплом. За стенами, в лесу, тянувшимся на много-много лиг, завывала зима. По большей



части зима не обращала на них внимания, но порой сотрясала хижину так сильно, что охапки шкурок на крюках раскачивались. Левет рассказал Келлхусу, что край этот называется Собель и что это самая северная окраина древнего города Атри-тау, хотя земли эти уже много поколений как заброшены. Что до самого Левета, он заявлял, что предпочитает жить в стороне от забот других людей.

Левет был крепким мужиком средних лет, но для Келлхуса он оказался все равно что дитя. Тонкая мускулатура его лица была совершенно не дисциплинирована: любые эмоции дергали ее, как за ниточки. Что бы ни волновало душу Левета — его лицо тотчас на это откликалось, и вскоре Келлхусу было достаточно взглянуть на охотника, чтобы мгновенно узнать, о чем тот думает. Способность предугадывать мысли и отражать движения Леветовой души как свои собственные появилась несколько позднее.

А тем временем дни проходили в повседневных заботах. На рассвете Левет запрягал собак и уезжал проверять ловушки. Если он возвращался рано, то заставлял Келлхуса чинить силки, обрабатывать шкурки, варить похлебку из крольчатины — короче, «отрабатывать хлеб», как выражался сам Левет. Вечерами Келлхус садился чинить свою куртку и штаны — охотник показал ему, как шить. Левет исподтишка наблюдал за Келлхусом из-за очага, а его руки тем временем жили собственной жизнью: вырезали, точили, шили, а то и просто разминали друг друга: мелкие, нудные занятия, которые, как ни странно, наделяли охотника терпением и даже как-то облагораживали.

Руки Левета оставались неподвижными только когда он спал либо был мертвецки пьян. Выпивка влияла на жизнь охотника больше, чем что-либо другое.

По утрам Левет никогда не смотрел Келлхусу в глаза — только опасливо косился на него. Странная половинчатость омертвляла его, как будто мыслям недоставало сил, чтобы воплотиться в слова. Если Левет и говорил что-нибудь, голос его звучал напряженно, сдавленно, будто охотник с трудом преодолевал страх. К вечеру он вновь обретал жизнь. Глаза Левета вспыхивали колючим солнечным светом. Он улыбался, смеялся. Но ближе к ночи его поведение перехлестывало через край, превращалось в грубую пародию на себя самого. Он беспрерывно болтал, хамски обрывал собеседника, временами



на него накатывали приступы ярости или горькой язвительности.

Келлхус многому научился благодаря этим страстям Левета, усиленным пьянством. Но пришло время, когда его наблюдения больше не могли пробавляться карикатурами. Однажды ночью он выкатил бочонки с виски в лес и вылил пойло на мерзлую землю. Во время последовавших за этим страданий он добросовестно продолжал выполнять работу по дому.

Они сидели по разные стороны очага, лицом друг к другу, прислонясь спиной к мягким кипам шкурок. Свет очага подчеркивал изменчивость лица Левета. А тот болтал. Он просто-душно радовался, что может рассказать о себе человеку, вынужденному во всем полагаться только на его слова. Старые страдания и обиды оживали вновь.

— И мне ничего не оставалось, как уйти из Атригау, — признался Левет, в который раз рассказывая об умершей жене.

Келлхус грустно улыбнулся. Он истолковал тонкую игру мышц на лице собеседника: «Он делает вид, что скорбит, чтобы вызвать у меня жалость».

— Атригау напоминал тебе о том, что ее больше нет?

«Это ложь, которую он говорит самому себе».

Левет кивнул. Глаза его были полны слез и ожидания одновременно.

— С тех пор как она умерла, Атригау казался мне могилой. Однажды утром нас собрали в ополчение, чтобы охранять стены, и я устремил взгляд на север. Леса словно бы... словно поманили меня. То, чем меня пугали в детстве, превратилось в святилище! В городе все, даже мои братья и товарищи по отряду ополчения, казалось, втайне злорадствуют из-за ее смерти — радуются моему несчастью. Мне пришлось... Я был просто вынужден...

«Отомстить».

Левет посмотрел на огонь.

— Бежать.

«Зачем он так себя обманывает?»

— Левет, ни одна душа не бродит по миру в одиночку. Каждая наша мысль коренится в мыслях других людей. Каждое наше слово — лишь повторение слов, сказанных прежде. Каж-

дый раз, как мы слушаем, мы позволяем движениям иной души пробуждать нашу собственную душу.

Он нарочно оборвал свой ответ на середине, чтобы сбить собеседника с толку. Прозрение куда сильнее, когда оно разрешает недоумение.

— Именно поэтому ты и бежал в Собель.

Глаза Левета на миг округлились от ужаса.

— Но я не понимаю...

«Из всего, что я мог бы сказать, он сильнее всего боится истин, которые ему уже известны и которые он тем не менее отрицает. Неужели все люди, рожденные в миру, настолько слабы?»

— Все ты понимаешь, Левет! Подумай сам. Если мы — не более чем наши мысли и страсти, и если наши мысли и страсти — не более чем движения наших душ, тогда мы сами — не более чем те, кто движет нами. Человек, которым ты, Левет, был когда-то, перестал существовать в тот момент, когда умерла твоя жена.

— Но потому я и бежал! — воскликнул Левет. Глаза его были одновременно умоляющими и рассерженными. — Я не мог этого вынести. Я бежал, чтобы забыть!

Его пульс участился. В мелких мышцах вокруг глаз отразилось колебание. «Он знает, что это ложь».

— Нет, Левет. Ты бежал, чтобы помнить. Ты бежал, чтобы сохранить в неприкосновенности все пути, по которым водила тебя жена, чтобы защитить боль утраты от влияния других людей. Ты бежал, чтобы создать оплот своей скорби.

По обвисшим щекам охотника покатались слезы.

— Ах, Келлхус, это жестокие слова! Зачем ты говоришь такие вещи?

«Чтобы вернее овладеть тобой».

— Потому что ты уже достаточно страдал. Ты провел много лет в одиночестве у этого очага, упиваясь своей утратой, вновь и вновь спрашивая своих собак, любят ли они тебя. Ты ревниво бережешь свою боль, поэтому чем больше ты страдаешь, тем более жестоким представляется тебе мир. Ты плачешь, потому что это сделалось для тебя естественным и привычным. «Вот видите, что вы со мной сделали!» — говоришь ты своими слезами. И каждый вечер ты вершишь суд, вынося приговор обстоятельствам, которые приговорили тебя к тому, чтобы заново пе-

реживать свое горе. Ты мучаешь сам себя, Левет, чтобы иметь право винить мир в своих муках.

«И он снова будет утверждать, что это не так...»

— Ну, а если даже и так, что с того? Мир ведь действительно жесток, Келлхус! Мир жесток!

— Быть может, это и так, — ответил Келлхус тоном сочувственным и скорбным, — но мир давно перестал быть причиной твоего горя. Сколько уже раз повторял ты эти слова! И каждый раз они были отравлены все тем же отчаянием: отчаянием человека, которому нужно поверить во что-то ложное. Остановись, Левет, откажись следовать по накатанной колее, которую проложили в тебе эти мысли! Остановись, и сам увидишь.

Вынужденный заглянуть в себя, Левет заколебался. Его лицо выразило растерянность.

«Он понимает, но ему недостает мужества, чтобы признаться».

— Спроси себя, — настаивал Келлхус, — откуда это отчаяние?

— Да нет никакого отчаяния! — тупо ответил Левет.

«Он видит место, которое я ему открыл, сознает, что в моем присутствии любая ложь бессильна, даже та, которую он повторяет самому себе».

— Почему ты продолжаешь лгать?

— Потому что... Потому что...

Сквозь потрескивание пламени Келлхусу было слышно, как колотится сердце Левета — отчаянно, точно у затравленного зверя. Тело охотника содрогалось от рыданий. Он поднял было руки, чтобы спрятать лицо, но остановился. Посмотрел на Келлхуса — и разревелся, как ребенок перед матерью. «Больно! — говорило выражение его лица. — Как больно!»

— Я знаю, что больно, Левет. Освобождение от мук можно обрести лишь через еще большие муки.

«И впрямь как ребенок...»

— Но что... что же мне делать? — рыдал охотник. — Пожалуйста, Келлхус, скажи!

«Тридцать лет, отец! Велика, должно быть, твоя власть над такими людьми, как этот».

И Келлхус, чье заросшее бородой лицо было согрето пламенем очага и участием, ответил:

— Левет, ни одна душа не бродит по миру в одиночку. Когда умирает одна любовь, надо научиться любить других.